
Николай
Благов
ТРАКТ

Николай Благов

ТРАКТ.

Петербург — Симбирск
1887 г.

Поэма

В основе поэмы — драма Марии Александровны, матери Александра Ульянова, в дни суда над ним и его казни... В рамках этих событий — разгул реакции, бесправная жизнь народа при самодержавии.



Николай Благов

ТРАКТ

ПЕТЕРБУРГ — СИМБИРСК
1887 г.

ПОЭМА

Приволжское книжное издательство
Саратов 1972

Р2
Б68

Благов Н.
Б68 **Тракт.** Петербург — Симбирск, 1887 г. Поэма. Саратов, Приволж. кн. изд., 1972.
47 с. с илл.

0-7-4-2
4 72

Р2

Была и будет — не забыта
Все озарившая пора!..
...В глазах у Ильича — избыток,
Избыток света и добра.

Горячих шлемов жар вчерашний
Не могут выстудить войска,
Но милосердный запах пашен
Втянула в улицы Москва.

И по брусчатке так проухал
С присвистом — оторви да брось! — 5
Такой ли забубенный ухарь,
Лихач буденновский небось.

Хлыстал он — долго ль до скандала...
И музыкою избяной
Играл в телеге разудало
Товар железоскобяной...

Страна запахла пашней, сталью,
Вся разминалась наконец,
Как после лежки госпитальной
Ходить обязанный боец.

Выветривая дым прогорклый,
Под жгучим семенным зерном
Потягивалась трактом, взгорком,
Уральским становым хребтом.



Ого, молчавшая веками
Земля окрестная!
Ты вся —
Кроши тебя, меси руками,
Клади за пазуху — своя!

(Оно понятно — перед пашней
То чувство чуть ли не вины,
Уж так понятно
После нашей,
Под сердце жохнувшей войны...)

И радостью
С першинкой в горле
Переполнялся Главный зал.
Уж если мы взялись за корень,
Теперь потянем!.. —
Он-то знал!..

И не могли заснуть,
Огнями
Переговариваясь всласть,
Былые жители окраин,
К Кремлю вплотную подселясь.

Я зависть, что ли, приглушаю:
Кому-то выпадала честь
Войти к нему и, не мешая,
По-свойски рядышком присесть.

И, стукоток замяв оплошный,
Не глядя,
Чуять навесной
Тот лоб под махонькой ладошкой,
Те жилки с синью грозовой.

Кому хоть мельком, к разговору,
Не мысль,
А только тень одна
На разум пала бы в ту пору —
О чем?
О смерти?! —
Никогда!

Один, заваленный делами,
Он так захохотать умел,
Что Кремль, сияя куполами,
До самых маковок звенел.

И, приосанясь,
Часовые
Молчали, как колокола:
«Вот так-то, граждане честные...
Недурственно! Идут дела!..»

И торопилась ночь покоем
Унянчить всех, окаменеть.
Лишь ночевалки колоколен,
Слетаясь, бередили медь.

Да перешептывались флаги:
«Товарищи, идут дела!»
Да легонькая по бумаге
Рука с карандашом плыла.

. . . .

Да не умолкнет этот звон!
Он всыпан в нашу кровь.
Он — близко!..

...Ищу в Ульяновске Симбирск я.
Все свято.
Здесь родился он.



Часть первая

Тракт Симбирский.
Ветер —
свист разбойный.
Булькают и булькают тяжи.
Ты нарви, ямщик,
травы убойной —
матери на сердце положи.
Ты забылся —
как один остался.
Размечтался —
вожжи наслабе.
Вот уж сколько верст проулыбался! —
иль богатым снишься
сам себе?
Сглатывая ветер свой попутный,
улыбайся.
Не грешно.
И все ж
ненароком с барыней не спутай
женщину,
которую везешь.
Ворон неотвязный,
черный ворон
мертвые в закате петли вьет.
Темный храм —
сейчас она,



в котором
служба погребальная идет.
«Рожь-то!.. Рожь-то!..
Набирает колос...
Все спешим —
как на пожаре мы...»
А она выходит,
слыша голос,
да никак не выйдет из тюрьмы.

«Госпожа Ульянова?!
Садитесь!
Да садитесь!..
Правда, тут следы...
Эта наша... пошлая обитель...
Успокойтесь.
Сельтерской воды?..
Просьба:
мать вы,
и со всем стараньем
выручайте сына —
впал в обман.
Говорят —
большое дарованье.
И во вред,
а не на пользу нам!..
Докатиться до таких оказий!..
Кто его в преступный круг завлек?!

2 Заказ 1811

Вас проводит
прокурор наш
Князев.
Вольтерьянец!..
Услужи, Князек!..»

Холодны,
как смерти опахала,
крылья перепончатые мглы.
Лампа,
сонно чмокая,
сосала
кровь жильца,
чтоб осветить углы.
Он стоял
и затаенно слушал.
Здесь-то, в склепе?!
Что он слышать мог?!
Как угар в висках,
стучит по льдушкам
дворника тюремного скребок.
Ни к чему
ни стены, ни охрана.
Что же беззаконнее всего —
здесь одноутробных,
равноправных
стало двое:
он и тень его.



КНЯЗЕВ

Примиритесь — это крепость.

АЛЕКСАНДР

Мама!..

КНЯЗЕВ

Не гнушайтесь,
но обязан я

быть при вас.
Поймите — служба...

АЛЕКСАНДР

Мама!..
Светлая моя!
Прости меня!..
То-то мне казалось,
где-то близко
ходишь ты,
да не пробьешь пути.
Как ты прилетела из Симбирска?
Как заиндевела ты!..
Прости.
Мне —
и обездолить свет твой чистый!
Это страшно...
Где ты сил найдешь?!
Но священный долг перед Отчизной!..
Я не мог иначе.
Ты поймешь!..

МАТЬ

И поверю...
Но твои идеи...
Но в твоей мы видели судьбе
лишь науку.
Даже Менделеев
славный путь предсказывал тебе.

АЛЕКСАНДР

Мужичишка пятками босыми
месит грязь
и сам земли черней,

я же стану
знаньями своими
кольчатых раскармливать червей...
Стыдно это.

МАТЬ

Но в одной науке —
избавленье!
Вспомни, наконец,
как молчал и жег себя,
чтоб внуки
выбились из мрака,
твой отец.



АЛЕКСАНДР

А меня —
все думаю ночами —
и благословило в этот бой,
может быть,
как раз отца молчанье,
гулкое —
под крышкой гробовой.
Знанья —
что за мука в жизни скотской!
Школы?
Но мужик-то мужиком.
Школы —
чтобы вытирал он пот свой
полотенцем,
а не рукавом?..
Дивный гений,
прозорливец вещий,
вековую разогнавший тьму, —
кто у нас он?
Да лакей со свечкой, —
светит господину своему:

полыхает мозг
в глухом тоннеле,
чтобы тот не оступился зря,
тот сатрап...

МАТЬ

Но что же вы хотели?

АЛЕКСАНДР

Что хотели?..
Да убить царя!..

КНЯЗЕВ

(Что за люди!
Много ли у нас их?..
Где идеи,
чтоб развеять их!)

МАТЬ

Но ведь эти средства
так ужасны...

АЛЕКСАНДР

Что же делать, мама?
Нет иных!..

МАТЬ

Но одни,
одни вы...
Как вы слабы!..

АЛЕКСАНДР

Грустно — да!
Какой переворот
самодельной бомбой!..

Но хотя бы
снять гипноз,
расслабивший народ.
В камне слышно,
как кричат тревожно
птицы,
вьюги к северу тесня.
Пострелять их —
подушить нас
можно,
но остановить —
закон! —
нельзя.



МАТЬ

Не виню я,
только не легко мне.
Верю.
Но в одном не прекословь...
Вековую заповедь я помню:
разум гаснет
там,
где льется кровь.

АЛЕКСАНДР

Как же быть?
Смешаться с высшим классом?
Попирать
и ползать до конца?
О орденоносное,
с приплясом,
уличное счастье подлеца!..

МАТЬ

Ты послушай,
ты подумай, Саша:

мне-то ясен,
ясен мне твой путь.
В том,
что сделал, —
как это ни страшно! —
не могу тебя я упрекнуть.
Но какая грозная примета —
«чуткость» здешних!

АЛЕКСАНДР

Примирись! Прости!..

МАТЬ

Что угодно, господи,
но ЭТО...
ЭТО не смогу перенести.
На исходе силы.
На исходе.

АЛЕКСАНДР

Надо примириться.
Там — семья.
На себя
весь груз возьмет Володя.
Ты ведь знаешь,
он трезвей меня.
Пошатнусь —
его обезоружу.
Если вдруг покаюсь,
уступлю —
гибельную тяжесть я обрушу
на него,
на Родину свою.

МАТЬ

Повиниться!
Пусть Сибирь и тюрьмы!

Срок придет —
отмякнет и закон!

АЛЕКСАНДР

Как же?
Смерть готовили царю мы.
Просто — переадресует он.
С бомбой шли на Невский,
а сейчас нам:
«Смилуйтесь! Простите!»
А потом?
Нам с властями —
это же так ясно! —
не ужиться под одним гербом!



МАТЬ

Мальчик мой,
да вот, припухнув, детство
на щеках твоих вразвалку спит...
Неужели царь,
отец семейства,
тоже человек —
и не простит?..
Старой седине моей доверься!..

АЛЕКСАНДР

Мама,
замуруют, как зальют.
В клетке.
Мама,
это хуже смерти.
И читать лишь Библию дают.
Спятишь,
станешь сам царем иль графом.
Так сидеть вот,
камеру прибрав...

МАТЬ

Да!..
Всегда,
всегда ты прав...

КНЯЗЕВ

Да!..
Прав он.
Госпожа Ульянова,
он прав!..
Как хотите,
но с его мозгами...
взаперти с таким умом!
Навряд...
Здесь сидят,
уподобляясь камню.

АЛЕКСАНДР

Слышишь —
вон что люди говорят.

МАТЬ

Я сама
открыла души ваши
для любви,
для правды,
для добра.
Не погаснет свет!
Мужайся, Саша!..

КНЯЗЕВ

Время вышло.
Горько. Но пора.

3 Заказ 1811

МАТЬ

Как тебя темница прознобила!..
Заглушила щеки синевой.
Боже!
И поздравить я забыла:
ведь сегодня
день рожденья твой!..

Встал он.
Встала с ним осиротело
тень его:
«Одно у нас жилье!»
Все же отобрать она хотела
все,
чем он превосходил ее.

КНЯЗЕВ

Обопритесь!
Тут и крысам жутко...

МАТЬ

Сына в петлю волокут,
а мне:
«Обопритесь!»
Ах какая чуткость!..

КНЯЗЕВ

Госпожа,
не по моей вине...

Лязг замка.
И сладкая с захлебом
позевота двери.
И темно
под распаренным

собачьим небом
коридора.
Небо — есть оно?
О стена несокрушимой пробы!..
Грохал дворник в ледяное дно
с тем усердьем,
будто вновь в Европу
прорубал промерзшее окно.
Честный дворник,
вишь, сытна кормежка
даровая?
Как они, дела?
Все радеешь,
чтоб в тюрьму дорожка
торная, широкая вела?..

19

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ ПРОШЕНИЕ

Обращаюсь к Вам с душой распятой.
Мать я —
шестерых сирот ращу.
Милости прошу я
и пощады.
Государь,
я милости прошу.
Вечное,
святое чувство долга
заронила я в детей своих.
Государь,
сомненье ненадолго
пало

преходящее
на них.
Это забытье,
случайный промах.
Верьте, государь:
в родном дому
прояснится дух его.
На помощь
мужа я из гроба подыму!..
Он еще ребенок —
пощадите!
Всею жизнью,
сединою всей,
как в могилу падаю:
верните!..
Возвратите мне моих детей!

Растасован залою зеркальной,
тенями провисший с потолка,
царь страну прослушивал
сигнальной,
тайной паутиной паука.
Позевнет ли,
затомясь в секрете
над какой-то дохлой из бумаг, —
сотни тихих александров III
враз ладони поднесут к губам.
И сквозила,
всю страну пронзая,
нить
всеслышащая
паука,
сквозь сердца и головы, —
касалась
жала
пограничного штыка.

Взгляд бессонных,
чудом не казненных
в камерах кессонных крепостей —
снизкой все —
от пуговиц казенных
до церковных луковиц на ней.
И по той
холодной паутине,
в каплю округляя небеса,
гербовым подернутая инеем
докатилась
матери слеза.
Как ни закрывалась
в слог старинный,
было императору видней —
видел он:
оконной крестовиной
стать пыталась
виселица в ней.
«Дайте им свидание.
А сами
будьте зрячей скважиной замка.
Наконец-то,
может быть,
слезами
мать размоет
мужество сынка».
«Творческие» разработки эти
паутина
понесла во мглу.
Сотни тихих александров III
шаркнули бумажкой по столу.

Половину
в низких водах пряча,



а другой —
раскрылясь в небеса,
город плыл,
раздвоенно прозрачен,
как на камышинке стрекоза.
Улицам продутым на потребу
жарко занимались купола.
Низенькому,
северному небу
не хватало своего тепла.
Странники
от умиленья слепли,
лбы возвысив.
На краю земли —
надо же! —
в таком великолепье
медоносы божьи расцвели!
Черные старатели эпохи
чирья,
струпья,
мокреть черепов
грели
на врачующем припеке
широко горевших куполов.
И глядел на них,
давя рыданья,
тот,
воскресший в дивной красоте,
тот,
который превзошел в страданьях, —
гражданин,
распятый на кресте...
А внизу
один бунтарь окольный
чувствовал,
жирком не замутнен:

в теплых почках
меди колокольной
погребальный
набухает звон.

И белела в уличном потоке
мать.
Душа горит —
не продохнуть.
Все спешила,
задыхаясь
в токе
холода балтийского по грудь,
к крепости: гудит столпотворенье;
в толчее пробилась до стены.
Что там?
«Высочайшим повеленьем...»
Накатилось слово:
«Казнены...»
Шла — не шла,
но с грохотом вокзалов —
падала.
И к ней на мостовой
звонкая цыганка привязалась,
бронзовая, с пазухой пустой.
Дуло — в дуло часовые башни.
Морщь карнизов,
сдвинутая зло.
Низким ветром,
юбки перебравшим,
от тюрьмы цыганку отнесло.

Служба встала.
Скрип ремней замочный.
В пуговицах,

будто от жары,
распушились строевою строчкой
гербовые медные орлы.
«Хода нет!»
И тишина заклекла.
Каблуков минутный стукоток.
«Запад — мой!» —
из клюва брызнул клекот.
Клюв другой открылся:
«Мой — Восток».

МАТЬ



Пропустите!
Пропустите, люди!
Пристрелите!..
Грохните ружьем!..
Медные, стальные ваши груди!..

ГЕРБОВЫЕ ОРЛЫ

Мы людей не слышим!
Мы — клюем!

МАТЬ

Расступитесь!..

ГЕРБОВЫЕ ОРЛЫ

Поздно торопиться!

МАТЬ

Пятерни кровавые ручищ!
Напились —
насытились, убийцы!..

ГЕРБОВЫЕ ОРЛЫ

Думаешь,
ты первая кричишь?
Но никто вовек не докричится!
Сказано —
поставлена печать.
Сфинксы—птицы—стены—черепица—
все на месте.
Что же горло драть?!

МАТЬ

Для острастки это...
Не убили?!

ГЕРБОВЫЕ ОРЛЫ

Вот так раз!
Кормить подобных лиц?!

МАТЬ

Вы-то сами
там, на месте, были?

ГЕРБОВЫЕ ОРЛЫ

Как без нас!
Все утро там вились!

МАТЬ

Не скрывайте,
если вы оттуда.
Как там было?
Дайте мне ответ...

ГЕРБОВЫЕ ОРЛЫ

Человек —
известно, что за чудо:
пять минут подергался —
и нет.
...Вот и сникла...
Человеку мука:
на него — мешок,
а он — слова...
Нам одним не страшно,
потому как
будет жить вторая голова!
А досталось...
Незавидна старость.
Нашатырки — к носу.
Ничего.



МАТЬ

Но на свете
что-нибудь осталось,
хоть какая малость, от него?

ГЕРБОВЫЕ ОРЛЫ

А на казнь затраты чем латали?!
Перепись вещей составил суд.
Значатся:
медалька золотая
да часы —
на ком-нибудь идут.

Что осталось —
все подшито в «Деле».
Правда,
снимков пара есть у нас.
Это без расписки —
сжечь хотели...
Надо, что ли? —
В профиль и анфас...



Часть вторая

Тракт Симбирский.
Ветер —
свист разбойный.
Булькают и булькают тяжи.
Ты нарви, ямщик, травы убойной —
матери на сердце положи.
Ты забылся — как один остался.
В думах скрылся —
вожжи наслабе.
В памяти, как видно, заплутался.
Иль неладно снишься
сам себе?..

Надоело
мельтешить в охвостье:
только штамп,
что в городе живешь,
а во сне, покалывая остью
(сердце ль колет?),
обступает рожь.

О льняной подол твой,
степь родная!
Пусть на постной полосе твоей
гробился,



портянок не сдирая,
озимь пробивалась из лаптей,
но сидишь вот, правишь,
а душой-то
хоть не там,
а все же там живешь...
Колобок, это всего ушел ты,
но куда от Родины уйдешь?!
А случилось:
покрутил посевы
суховей,
осыпал на глазах.
Зиму дети ползали в сусеках,
как синицы в избяных пазах.
И по селам
слух пустили зряшный.
Баба шла, котомку волокла:
«Белая за Суходольским вражком
глина
как пшеничная мука».
«Ты уж на затевку удели нам».
Подмешали —
ситный не поднять.
Ели-ели,

рылись-рылись —
глина.
Глина.
Стали нищим подавать.
И дохнул тогда,
подул, как ветер,
голод,
индевеющий в избе:
«Мужики,
да вы отцы ли детям?
Смерть уже неволит их к себе.
А зато у барина на калде,
и на гумнах,
и по всем полям
хлеба
третьегодничные клади.
Это — крышки гробовые вам».



Кто дохнул?
Да кто-то!..
Услыхали...
Звон голодный день и ночь в ушах.
Косы, вилы, колья похватали,
запрудили мужики большак.
Сгрудились,
смешались в песнь живую.
Низковато небо!
Степь мала!
От скворцов и то,
когда жируют,
звон над полем —
не слыхать села.
Вылезая из тугих удавок
воротов,
блажит молокосос:
«Что за чудо!
Мужики,

куда вы?
Тятя,
неужели сенокос?»

...Принесут они с полей спаленных
под ржаной свой,
под родимый кров
кровь,
как раньше —
хлопья трав зеленых
в деревянных заусенцах черенов...

Сенокос, бывало, —
Хруст холстинный.
Жало напряженное косы
легкой
бабья лета паутиной
просится слетать во все концы.
Косы —
как жирующие стаи.
«Ах, рассохлись малость!»
И когда
пустят в воду —
от слепящей стали
задымится пахтою вода.
И кувшинка над водой,
разрытой
сталью,
распоровшей небосвод,
как утенок,
ястребом накрытый,
потемнеет,
вдавится,
замрет.
Что она видала,
в небо глядя,

водяным пробита серебром?
Только покачнется —
и осядет,
будто язь задел ее
пером.
Поплывет —
и вся ее кручина.
Что она?
Жила, не береглась.
Срежешь и забудешь:
у кувшинок
нету ни улыбок
и ни глаз...

«Где вы, непутевые, мотались?
Мужики!
Бредете бечевой.
Много ли стогов-то наметали?
Кабы не случилося чего...»
«Барин-то уж как нас не порочил!
Да ведь много нас —
трещал настил.
Ну и упустил старик,
и с прочим
из себя и душу упустил...»

Всю-то ночь
снега в просонках пряла
близкая луна,
но нет ее —
огороды, избы зарывала
в даровое, легкое тканье.
На заре,
как хлебы из квашонок,
взяли их.
И, дулом поманя,

увели от бабьего,
печного,
радостно стрелявшего огня.
Взгляд коровий окон —
хорошо-то!..
А у них крапивницей цвела
на щеках холщовая решетка
от подушек...
Вдоволь от села
отвели их
и сперва смущенно,
а потом,
как не умела мать,
как, наскучась, не умели жены,
стали
справа-слева «целовать»:
растянули меж коней на вожжи
и кнутами по распятым —
а-ах!..
Всю одёжу
вшпаклевали в кожу:
клочья кожи —
с клочьями рубах.
И когда с подвешенного плетка
скатывалась,
гнула жеребца,
задом в снег садился он,
как лодка...
«...В-верую
во ед-диного
бога и-истинного
отца!..»
Уж у нас умеют бить
брат брата
(«Сопли! Нюня!..
Ахни в срамоту!..»)

с расщеперенным,
поганым матом,
как с колючей проволокой во рту.

В степь,
в буран угнали,
где народу
стала волком вьюга подвывать.
Лицами поставили к восходу:
«Ну, молитесь богу!..
...в бога мать!..»



Руки —
в мочажинах их дубили.
Кочки трута,
ссадины одни.
Щекотно подумать,
что ведь были,
были в бабьих пазухах они.
И когда от девичьей калитки
повели до свадебных ворот
милую —
цвела, небось, улыбка,
долгая,
как високосный год.
Лемеха — не руки.
Благодарствуй!
Двойняши усядутся в ладонь.
Вечные замки у государства,
так и говорят они:
«Не тронь!..»
Стало низко солнце,
как распятье.
Руки всплыли.
Гаркнул горлопан:
«Пли!» —
Кипящей сургуча печатью

пули прилепили их ко лбам.
И стояла,
солнце затеняя,
будто приглашалась на любках,
смерть,
покуда привыкал не таять
снег —
двубровым бугорком —
на лбах.

Вьюга их обвыла
как безродных.
И весною по округе всей
половодье к тихим подворотням
неживых привадило гостей.

Бабий крик,
всесветный вопль:
«Не мой ли?»
Взгляд,
разбитый в брызги.
Рот немой.
«Не твое ли тело речка моет?..»
И толкала в воду:
«Нет, не мой».
«Бабы,
мой-то прилетал недавно.
К печке встал,
к подушке-то прирос:
«Отодвинь пока детишек, Анна,
я им сладких леденцов принес.
Руки,
грудь мне отдыши —
с мороза.
Что же ты встречаешь не с душой?»—
Вроде бы вернулся из извоза,

только чую:
холод не живой.
«Сгинь! — крещусь,—
могильный ты,
убитый».
От креста вражина — об пол грох!
Утром-то глядим,
а леденцы-то,
бабы,
ведь овечий был горох.
Скрылся ли?
Погиб ли?
Хоть словечко!..»



Но в песок ребристый у села,
выступив скелетом желтым,
речка,
чтобы не надеялись,
ушла.
Ну, а барин молодой,
расщедрясь,
в знак помина
церкви купола
в черный креп закутал,
будто церковь
за отца просватана была.
Ах, артист!
Ему и горе — праздник,
маками,
как бы в намек немой,
степь засеял,
и от маков красный
приезжал, нанюхавшись, домой.
Мужики ходили на зажинки
да дивились:
мужикам и так
пятна крови чудились в суглинке,

в хлебе,
в небе —
всюду.
Что там мак!..

А в степи
в буранной круговерти
в снежный соборованный сатин,
если верить говору,
от смерти
откупился все-таки один.
Он упал —
уж вши ползли согреться
в ложечку, под грудью,
к теплой мгле —
на продрогшей,
потерявшей сердце,
милой,
неприютливой земле:
вспоминал себя —
и белолицый,
белый он,
как реповый,
лежал.
Мир,
с которым он успел проститься,
все же
помаленьку
дорожал.

Как он выжил?
Где нашел он вехи?
Для науки это все темней,
чем раскопанный в XXX веке
в глине
гусеничный след

(лаптей)...
На рукав рассыпал по солинке
плетками в глазах разбитый свет.
Шел,
оставив по себе поминки.
Муж,
отец ли,
сродник,
иль сосед.

Только два пристанища у волка:
залежный бурьян
да темный бор.
А у вольного бродяги —
Волга.
Вылинял он в нищих
и с тех пор
одеревенел.
Сидит
как врытый,
слыша Волгу,
давится махрой,
незаметный,
вроде бы покрытый
стеганой осокоря корой.
Ходит желвака железный желудь:
«Старая,
устала ты,
река,
у тебя от берегов тяжелых
ноют день и ночь,
болят бока».
Подойдет старушка.
«Жив ли?» — спросит.
Грузчик булькнет в кружку:
«Причастись!»

Побирушка поглядит
и бросит
гривну
каплей помохи на лист.
Понабухнут, понабрякнут веки,
глухо буркнет темный нелюдим:
«Все мы — люди,
все мы — человеки.
Хлеб едим мы —
кровь свою едим».



Часть третья

Тракт Симбирский.
Ветер —
свист разбойный.
Булькают и булькают тяжи.
Ты нарви, ямщик,
травы убойной —
Родине на сердце положи.
Ты забылся —
как один остался.
Умотался —
вожжи наслабе,
сколько верст
как пеплом покрывался —
иль кандальным снился
сам себе?

Вам разговориться бы, возница!
А, возница?
Все ведь пополам...
Не судьба сейчас разговориться
и разговориться-то не вам.
Город,
выявляясь понемногу,
куполами издали сверкал.
Как ступени,



как ступени к богу,
крышей крышу прикрывая,
спал.
Заревой отпаривались ранью
дивные Симбирска терема:
белое Дворянское собранье,
желтая губернская тюрьма.
Как судьба в иерихонском горне,
надо всем —
опора из опор! —
вслушиваясь в чудный шепот горний,
златоглавый царствовал собор.

Плотское,
минутное поправший,
он дремал,
но не бросала петь,
билась роем,
матку потерявшим,
как в просонках,
колокола медь.
Он забылся только сном недолгим,
колокол,
он силу наберет,

глас небесный —
от него на Волге
на крещенье лопается лед:
«Человек,
скажи:
на что позарясь,
ты бунтуешь в скопище мирском?
Миг один —
младенец ты...
и старец,
мотылек,
мелькнувший над костром...»

...Тишина тенетная окрестных
дач,
садов,
лабазов
и иных
изб,
домов ли
в гербовых,
железных
поцелуях знаков номерных.
Били в кованые двери:
«Так ли?»
Поднимаясь,
как не с той ноги,
пахли мраком,
преисподней пахли
надегтяренные сапоги.

После оглушительных вокзалов
Петербурга,
после поездов
дом,
укрытый в тополя,

казался
в глухомань припрятанным гнездом.

Обходя семейно каждый кустик,
гузнами провиснув до земли,
кланяясь пернатым встречным,
гуси
чинно,
как христосоваться,
шли.
И вожак их
гоготал, насупясь,
чтобы мир семейству обрести:
«Здеся
государственный преступник...
Господи,
помилуй и прости!..»
И застыл он
в онемевшей свите,
как льняной собрат на рушниках...

«Адрес-то, сударыня?..
Не спите?
Вот оно!..
Доехали никак?..»
И пахнуло
теплотой набрякшей,
все же не забытой до конца:
«Кажется, ромашкой?
Да, ромашкой.
Это — наша.
Это — у крыльца».

«Донести поклажу-то?»
«Поклажу?
Ох, моя поклажа на весь век.

Нет, сама.
Спасибо, что уважил.
Вот возьми-ка,
милый человек!»

Не бери, мужик.
Верни полтины!..

(«...Хлеб едим мы —
кровь свою едим...»)
Если бы ты знал,
как заплатила
мать
всем внукам,
правнукам твоим!..



...По пустынным рукавам возница
переулков,
улиц,
площадей
с громом покатился, как водица
горлом распаленных лошадей...
...Сад,
едва замеченный по ходу,
завязью глазеющий литой,
тихую, пчелиную погоду
выхлопатывающий листвой;
флигель,
от рассвета приотставший,
и в пустынном, нежилом тепле
тень,
и вздох,
и талый облик Саши
застекливший намертво в себе;
дом,

листвою жиденькой прикрывший
грозовую затаенность,
дом
с воробьиным шорохом,
по крыше
пробежавшим реденьким дождем;
окна
с перечеркнутой печалью,
с непроглядным горем
и покой
улицы,
дохнувшей вдруг песчаной
от Свияги
отмелью парной, —
все
окаменевшую размыло
соль
и грудь теплом обволокло.
Так на плач детей,
когда кормила,
сразу приливало молоко...

«Ну, иду...
Теперь как можно глуше
все — в себя.
И до последних дней.
Только б не обрушить,
не обрушить,
не обрушить горе на детей!
Тяжестью не рухнуть им на плечи,
но служить
опорой
до конца!
Дай мне мудрость,
чтобы не зажечь их
местью,
искажающей сердца!

Но и материнским опасеньем
не отвлечь от лучезарных вех.

Горе,
будь последним...
Будь последним...
Ну, иду!..

Отныне и вовек».



Благов
Николай Николаевич

ТРАКТ.

Петербург — Симбирск,
1887 г.

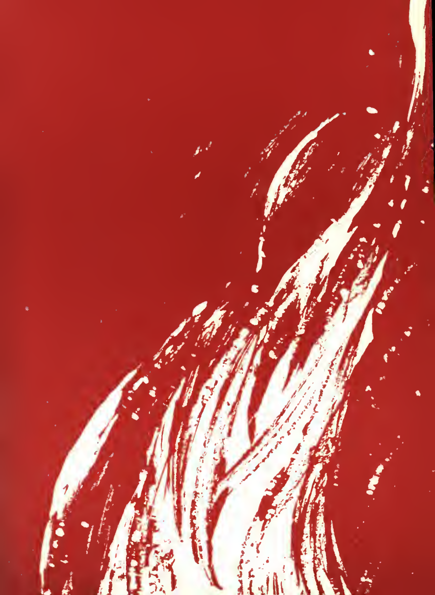
Поэма

Редактор Г. Ф. Соколов
Художник В. С. Успенский
Художественный редактор В. К. Иванов
Технический редактор Л. И. Борисова
Корректор С. Е. Бухман

48

НГ49650. Сдано в набор 16/VIII 1972 г.
Подп. к печ. 21/XI 1972 г. Формат $70\times100^{1}/_{32}$.
Усл.-печ. л. 2,1(1,5). Уч.-изд. л. 2,5. Тираж 50 000.
Цена на типографской бумаге № 2 26 коп., на мелованной бумаге 36 коп. Заказ 1811.

Приволжское книжное издательство. Саратов, пл. Революции, 15.
Производственное объединение «Полиграфист». Саратов, пр. Кирова, 27.



26 к.

ПРИВОЛЖСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
САРАТОВ 1972